



Н. В. ШЕЛГУНОВ

Люди сороковых и шестидесятых годов

<...> Век Екатерины II не отрицал ничего. Это был веселый, добродушный век, насаждавший поэзию, мягкость нравов, беспечную жизнь. Но люди сороковых годов пошли в глубь, для предыдущих людей недостижимую. Новых людей уже не подкупала внешняя обаятельность какого-нибудь Карамзина и других воображаемых представителей русской мысли. Белинский назвал Карамзина прямо актером. <...>

Попытки русского сознания. Сантиментализм и Карамзин

Карамзин был по преимуществу человеком чувства и потому-то в нем виднее всего ошибки чувства и тех увлечений, в которые оно уходит, если не встречает проверки в мысли.

Первое и роковое влияние на всю жизнь имел на Карамзина новиковский кружок и масонство. Дмитриев в своих «Записках» говорит, что Карамзина ввел в новиковский кружок И. П. Тургенев, один из деятельнейших членов «Дружеского общества», и в этом кружке «он воспитался окончательно под влиянием друга своего Александра Петровича Петрова»¹. «Я как теперь вижу, — говорит Дмитриев, — скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столе, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго перед моим приездом из Петербурга в Москву, а другая освещалась Иисусом на кресте, под покровом черного крепа». Хотя и неизвестно, в чем именно заключались отношения Карамзина к масонскому кружку, но тесное сближение с известным масоном Кутузовым и с Петровым не позволяет сомневаться в действительности сильного влияния масонства, мистицизм, сантиментализм и идеализм

которого отразились уже в «Письмах русского путешественника». Говорят, что самое путешествие Карамзина за границу находилось в связи с его отношением к новиковскому кружку. Если это мнение даже и неверно, то все-таки не подлежит сомнению, что Карамзин, по словам Дмитриева, горел перед своей поездкой «пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека».

В «Письмах русского путешественника» читаем: «Щастливые Швейцары! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы Небо за свое щастие, живучи в объятиях прелестной Натуры, под благодетельными законами братского союза, *в простоте нравов и служба одному Богу?* Вся жизнь ваша есть конечно приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, *не возмущаемую тиранскими страстями...* Ах! ЕСТЬЛИ бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно Природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому щастию; что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту натуры человеческой, когда сердце мое отверзается впечатлениям красот Природы, — чувствую я то же, и не нахожу в смерти ничего страшного». Описывая, как он остановился подле одной хижины на берегу чистого ручья и попросил у пастуха напиток, Карамзин говорит: «Я взял чашку, и если бы не побоялся пролить воды, то, конечно бы, обнял добродушного пастуха, с таким чувством, с каким обнимает брат брата: столь любезен казался он мне в эту минуту! *Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями!* Я с радостию отказался бы от многих удобностей жизни... чтобы возвратиться в первобытное состояние человека... С сими мыслями пошел я от пастуха; несколько раз оборачивался назад и приметил, что он провожает меня взорами своими, в которых написано было желание: *поди, и будь щастлив!* Бог видел, что и я от всего сердца желал ему щастия, *но он уже нашел его!*»

Другие два произведения Карамзина, имевшие вместе с «Письмами русского путешественника» такое огромное влияние на общество, были «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь». Лиза — «прекрасная телом и душою поселянка», в которую влюбляется добрый, но слабый и ветреный дворянин Эраст. Слабый и ветреный Эраст, увидев Лизу, стал мечтать, подобно Карамзину в Швейцарии, о тех временах, когда пастухи были

братьями и когда «все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни проводили». Вообразив такие, никогда не существовавшие времена, Эраст забывает о своем дворянском происхождении, отрешается от всех социальных условий и предрассудков и предлагает Лизе руку и сердце². Но одно непредвиденное обстоятельство помешало Эрасту поступить, как следовало. Обаятельный полумрак вечера, когда «никакой луч не мог осветить заблуждения», довел Лизу и Эраста до такого головокружения, что затем уже не было никакой необходимости в браке и обманутая Лиза бросилась в пруд³. В «Наталье» Карамзин идеализирует старинный русский быт, когда наши бояре тоже, подобно первобытным и счастливым пастухам, жили по душе, как братья, и говорили, как думали.

Эти три произведения имели в свое время необыкновенный успех, особенно между женщинами; потому что эти произведения были верным отражением чувств своего поколения, откликом той эпохи, которая помешалась на повальном сентиментализме.

В эпоху жизни чувством, каким был екатерининский век, подготовилось немало людей, которым сентиментально-романтическое настроение Карамзина казалось единственным, способным наполнить чувство. Это был, конечно, протест против окружавшей повсюду грубости; сентиментализм, конечно, будил чувство, возбуждал в душе новые ощущения, расширял пределы внутреннего мира, но в то же время он был бессилён выработать свою собственную идею и оставлял человека игрушкой противоречий между практикой установившихся уже идей и сентиментальной теорией новых чувств. Карамзин находился всю жизнь свою в том же противоречии; когда он отдавался влечению своего нежного чувства, он мечтал о братьях-пастухах, о всеобщем равенстве; но когда ему приходилось принимать участие в действительной жизни, он становился в тупик и не мог придумать ничего лучше существующего. Чтобы придумать лучшее, у сентиментализма было одно средство — уйти воображением в прошлое, «когда русские бояре говорили, как они думают», когда все люди были пастухами и братьями и когда они беспечно гуляли по лугам, проводя свое время в счастливой праздности. Это был идеал всего недовольного действительностью, всего очнувшегося для более нежных ощущений, и всего, жившего праздной мечтательностью. Оттого-то Карамзин и был по преимуществу дамским писателем. Тупая, неразвитая

женщина того времени, настолько грамотная, чтобы читать только самое легкое, и совершенно неподготовленная, чтобы думать, была способна упражняться лишь в первоначальных чувствах и считала себя совершенно счастливою, если могла наполнить свой праздный досуг мечтами о любви. В промежутках сантиментального чтения она, конечно, секла и щипала своих горничных; но почему бы их и не щипать, если они так глупы, что не умеют зашпилить платья, и так дики, что не умеют ценить всех благодеяний рабства? Воспитание шло естественным порядком — с возбуждения чувства — и против этого говорить нечего. Но почему же Карамзин не начал с воспитания гуманного чувства, почему он начал с слезливой чувствительности, с любви между Лизами и Эрастами? Только потому, что гуманность есть идея, чтобы ее понять, требуется не только развитие, но и довольно сильное развитие мысли. А этого не было ни у тогдашнего общества, ни у писателя этого общества — Карамзина.

Карамзин был весь свой век мечтателем и идеалистом; бессильные мысли и не могло в нем выработать ничего другого⁴. Сын своей страны, питавший к ней самую нежную привязанность, Карамзин мог явиться только проповедником хороших чувств, мог писать только для грамотной толпы, — для тех, чья мысль была не в состоянии перешагнуть за пределы личного эгоизма и личных повседневных отношений. Такому обществу был даже не нужен передовой мыслитель, ибо его не только бы не поняли, но отвернулись бы от него, как от фармазона и вольтерьянца. Добродетельное общество того времени очень дорожило своими удобствами жизни и своими правами; оно было слишком суеверно и невежественно, чтобы можно было пробуждать его мысль пробуждением других чувств, более возвышенных, широких, общечеловеческих и гуманных. Понятно, что Карамзин, чтобы влиять на такое общество, не мог стоять выше этого самого общества, не мог расходиться с его коренным мировоззрением, ни с принципами, которыми оно держалось. Когда «Живописец» вздумал было выразиться порадикальнее насчет крепостного права, то все заговорили, что он оскорбляет «целый дворянский корпус», и ему пришлось оправдываться, что он говорил о дворянах, «премущество свое во зло употребляющих». Карамзина ни в чем никогда не обвиняли, — напротив, он сам обвинял других, и после «Записки о древней и новой России», по словам г. Погодина, император Александр «явно охладел к Сперанскому»...

То, что в Карамзине называют обыкновенно противоречиями, вовсе не отступничество от своего мировоззрения; это обык-

новенный процесс неустановившейся мысли, колеблющейся между противоположными очевидностями. Такое же колебание происходило и в Белинском, но никто не скажет, что это было отступничеством от самого себя. Карамзин был, неоспоримо, честный человек с благородными стремлениями, человек, не способный ни на ложь, ни на лицемерие. Но Карамзин никогда не мог встать на высоту европейской идеи, он никогда не мог проникнуть в смысл совершавшихся перед ним исторических явлений, и лицо для него всегда заслоняло идею. Патриотизм Карамзина заключался не в сердце, в голове, где жил и его сантиментализм, которым руководило воображение. Карамзин совершенно искренно хотел взять все хорошее от немцев и англичан, но ему нужно было, чтобы это было действительно хорошее. Таким образом, его космополитизм становился в рамки его личного вкуса, личного произвола, личного выбора, и потому Карамзин остался совершенно верен себе, когда в беспокойной Европе не нашел той «тишины», какую считал необходимой для процветания и силы, и, наконец, возвел в целую теорию те едва зарождавшиеся мысли, которые высказал в «Письмах русского путешественника» и в «Наталье, боярской дочери». Мечты о первобытной простоте нравов, о жизни на лоне природы, о добродетелях простого человека, наконец, та естественная, страстная привязанность к предмету своего исследования, какая была в Карамзине, когда он писал «Историю», должны были привести его к предпочтению древней России новой. Еще бы, если он никогда не выходил из нее, и с 1803 года, когда стал заниматься русской стариной, жил в отвлеченном мире прошлого! Его биограф говорит, что «вся жизнь Карамзина за последние восемь лет сосредоточивалась в его труде, который он не оставлял до последней минуты, и в тихих радостях семейной жизни. Жизни общественной и государственной он в это время уже не замечал или, по крайней мере, старался не заметить: ему хотелось жить в мире со всеми и с самим собою». Таким образом, пламенное рвение к усовершенствованию в себе человека, с которым Карамзин поехал за границу, осуществилось; но зато Карамзин уже не замечал ни государственной, ни общественной жизни. Карамзин достиг того, о чем мечтал двадцати трех лет от роду: душу его не возмущали «тиранские страсти».

Карамзин был защитником крепостного права. «Мудрый, — говорит Карамзин, — идет шаг за шагом и смотрит вокруг себя. Бог видит, люблю ли я человечество и народ русский, имею ли я предрассудки, обожаю ли гнусный идол корысти, но для *истинного благополучия земледельцев* наших желаю, чтобы они

имели добрых господ и средства просвещения, которое одно сделает хорошее возможным»⁵. Помещикам Карамзин предлагает тоже просвещение и добродетель. «Сделайте что-нибудь долговременное и полезное, учредите школу, госпиталь; будьте отцами бедных и превратите в них чувство зависти в чувство любви и благодарности; одобряйте земледелие, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщению людей в государстве; пусть этот новый канал, соединяющий две реки, и сей каменный мост, благодеяние для проезжих, называются вашим именем!» При посредстве просвещения и добродетели Карамзин водворяет в России полное, повсюдное довольство и счастье. Так как «цветы граций украшают всякое состояние», то Карамзину уже рисуется в воображении золотой век, когда «просвещенный земледелец, сидя после трудов и работы на мягкой зелени, с нежною своею подругою, не позавидует счастью роскошнейшего сатрапа». Успокоившись фантазией, Карамзин в «Записке» обращается к императору Александру с таким советом: «Государь! История не упрекнет тебя злом (крепостным правом), которое прежде тебя существовало, но ты будешь отвечать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов». Такое отношение к народу привело Карамзина совершенно логически к абсолютной теории, которую он развивает в своей «Записке». Карамзин доказывает, что народ в русской истории не значил ничего. Но он слишком мягок, чтобы мириться с Иванами Грозными, и потому он желает правление добродетельное, «отеческое», «патриархальное»; он желает, чтобы на все должности избирались люди достойные, умные, честные, истинно преданные интересам отечества, и уменье «искать людей» ставит первым основанием хорошего порядка и общего благополучия. Одним словом, чувствительность и моральный принцип, характеризующие поколение екатерининского века, возведены Карамзиным в целую теорию сантиментального идеализма, долженствующего вести не вперед, а назад. Заслуга Карамзина потому есть заслуга отрицательная. Своей теорией он окончательно утвердил бессилие «чувствительного» направления там, где требовались здравая критика и зрелая мысль. Русская мысль от Карамзина не приобрела ничего, и только выиграло немного чувство той грамотной толпы, которая на чисто литературных произведениях Карамзина получила охоту к чтению. <...>

